

Эмиль Дрейцер

НА КУДЫКИНУ ГОРУ

ОДЕССКИЙ РОМАН



Seagull Press

Baltimore

2012

ОТ АВТОРА

Предлагаемые страницы — результат коллективного творчества. Мною написаны только главы, касающиеся одного из персонажей повествования Бориса Шустера, бывшего московского журналиста. Остальное написано им самим. Как это нередко бывает, когда персонаж выходит из-под контроля автора, все мои попытки уговорить Бориса не писать то, что может не понравиться российскому эмигрантскому читателю, он расценил как попытку цензуры, от которой, как он не преминул напомнить, я тоже бежал, как говорится, в чем был. Я принялся было его увещевать, что юмористическая линия его повествования может показаться читателям, прошедшим эмиграцию, кощунственной. Сколько связано с ней нелегких житейских переживаний и глубоких душевных травм!

— Ну, во-первых, — сказал Борис, — как завещал классик, смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно. А во-вторых, как известно, смех — лучшее болеутоляющее. Не потому ли испокон веков евреи смеются не только над своими врагами, но и над собой. А что до читателей, — добавил он, — нам надо учиться у мудрости народа, к которому мы оба принадлежим.

И он напомнил мне старый еврейский анекдот. В маленьком местечке надо было выбрать раввина из числа прихожан. Сразу же всем пришла в голову кандидатура Абрама Рабиновича.

— Замечательный человек! — прихожане хлопали друг

друга по плечу, поздравляя с удачным выбором. — Раввинское училище закончил с отличием. Тору знает вдоль и поперек. В Талмуде дока, каких поискать. И человек хороший и всем приятный. Давайте скорее голосовать.

— А я вам говорю, — выкрикнул вдруг один старый еврей, — что Рабиновича вашего к раввинскому месту и на пушечный выстрел нельзя подпускать!

— То есть, как это? — заволновались прихожане. — Почему?

— А потому, что на дочке этого вашего хваленого-перехваленного Рабиновича негде пробы ставить. Ее бесстыдное поведение можно определить только одним словом. Сказать, на какую букву это слово начинается или сами догадаетесь?..

— Гевалт! — вскричали евреи, хватаясь за головы. — Всевышний Боже! Надо же, чуть не покрыли себя позором перед всем миром! Чуть не выбрали негодника! Позор Абраму Рабиновичу! Позор нам всем!..

— Позвольте, позвольте, — вмешался другой прихожанин, — но у Абрама Рабиновича, я это точно знаю, нет дочери. Ни стыдной, ни бесстыдной. У него два прекрасных сына, Ицик и Шмулик...

Все до единой головы собравшихся повернулись в сторону того еврея, который честил дочку Рабиновича:

— Что вы такое говорите, достопочтенный? Что за дочка? Откуда у вас такие дикие сведения?

— Э! — отмахнулся тот. — Что вы ко мне пристаёте? Мое дело — сказать. А ваше дело — разобраться...

— Так вот, — сказал Борис, — писательское дело такое же, что и того еврея в анекдоте. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», как некогда заметил Тютчев. Наше дело — сказать. А читатель сам разберется, что к чему...

Я вынужден был уступить, и мне ничего другого не оставалось, как взять на себя труд расположить весь материал в

строгой временной последовательности, чтобы не окончательно запутать читателя.

Состоялась у нас и небольшая перепалка по поводу названия произведения. На мое предложение назвать его «Эмигранты» с обозначением в скобках «Фрагменты», Борис ухмыльнулся: «Тавтология».

И опять мне нечего было возразить. Когда я пытался расспросить Бориса, имел ли он представление, куда отправлялся, сдавая советское гражданство и получая вместо паспорта розоватую, сложенную в три приема бумажку — выездную визу, в ответ он только отмахнулся:

— Куда, куда!.. В наше время мы не кудахтали. «Куда» было не так уж важно. Важно было — откуда! Вот мы и покатили «на кудыкину гору»...

Мне показалось это довольно точным описанием того, как представляли мы, накат еврейской эмигрантской волны семидесятых годов прошлого века, куда мы едем. Ни у кого из нас пути назад не было. В ОВИРе со сложной смесью презрения, злобы и зависти, вместе с паспортами, у нас отобрали гражданство, право вернуться в страну, в которой родились и выросли. Во времена, описываемые в этой книге, еще не было ни писка гласности и ни намека на перестройку...

Нет, что ни говори, Борис был прав: иначе как «На кудыкину гору» эту книгу и не назовешь.

Хотя все события в повести взяты из реальной жизни и персонажи имеют реальных прототипов, всякое совпадение имен с реальными людьми — игра случая, как и сама жизнь. Сохранено только подлинное имя поэта Леонида Мака.

Автор благодарит Еву и Ефима Ингерман, а также своего брата Владимира, чьи эмигрантские перипетии легли в основу некоторых эпизодов романа. Автор признателен Семену Резнику, Давиду Гаю и Аркадию Полищуку за отзывы и критические замечания, сделанные при чтении рабочих

вариантов романа. Особую благодарность автор выражает Борису Замиховскому не только за дельные советы, но и за труд, связанный с тщательной вычиткой текста. Естественно, ответственность за обнаруженные уже в печати ошибки лежит целиком на авторе.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лет за сто до описываемых ниже событий, спасаясь от напасти под именем «царская власть», из Одессы, как и из других городов и весей России, за океан устремилось шумливое и деятельное левантинское племя. Там, где оно стало оседать, под звуки музыки в темпе «престо» (отнюдь не «модерато»), всегда поющей в груди, устремились ввысь крыши небоскребов, зазвенела под сверлами сталь мостовых переплетов, наполнились палубы прогулочных пароходов, и наперегонки стали рождаться дети, которым, как только способны были попасть вилкой в котлету, вручали смычок — играй, наяривай, выходи на мировые подмостки!.. Благословенна и удачлива стала та страна, в которую этот народ влился нескончаемой струей кровного родства. Высадись он даже за полярным кругом, от жарко бьющихся в жажде жить полной жизнью сердца растают даже айс-берги.

Уехали из Одессы тогда не все. Были и такие, что остались, не смогли оторваться от родного города. Хоть среди них было немало ворчунов, но нытиков не было. Нытье — они в этом убеждены! — возникает лишь по двум причинам: от дурной погоды и плохого пищеварения. Это в Питере плодятся сумрачные типы: чего еще ожидать от жизни на болоте? Это в Москве пруд-пруди унылыми физиономиями: какими еще они могут быть у тех, кто питается не дома бульоном от свежезарезанного цыпленка, а в государственных кормилках чебуреками, начиненными требухой состарившихся животных...

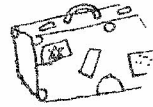
Прошло сто лет, и пришло время снова спастись от другой напасти, на этот раз — под именем «советская власть». А спастись было от чего. Хуже этой власти, противной вольно-

му левантинскому духу, не было в мире ничего, кроме моровой язвы. Эта власть с ее бесчисленными регламентациями, партийными жизнеубойными установками и плакатами типа «НА ТРАВЕ НЕ ЛЕЖАТЬ» доводила левантинцев до белого каления. Для чего еще трава, скажите на милость, если не для того, чтобы на ней лежать!.. Власть с ее вездесущими железнодорожными предостережениями («ЗАКРОЙ ПОДДУВАЛО! НЕ СИФОНЬ!») вызывала во рту привкус копоти. Казалось, живешь не нормальной жизнью вольных людей, а волочит тебя сквозь паровозную трубу бесовская сила, набивая грудь гарью.

«Наш паровоз, вперед лети»? — однажды сказали себе левантинцы. — «Это ВАШ паровоз, Пусть он и летит к чертовой бабушке! Мы можем прожить и без него. Паровоз — он чтобы по суше тащиться, наматывать на колеса землю, испоганенную шпальным мазутом. Нам это ни к чему. Мы не какие-нибудь светские нервные дамочки, которым нет другого пути, как сигать под паровозные колеса для разрешения личных проблем и половых конфликтов. И вообще женщина, которая оставляет своих детей на попечение гувернантки, иной судьбы и не заслуживает. Мы любим жить и жить хотим. Иначе мы не стали бы селиться у теплого моря, у вольной степи с тысячелетней пылью на обрывах. И не гулял бы по нашему городу теплый ветер и, словно хохочущая, хлебнувшая молодого молдаванского вина женщина, не подхватывал бы прохожего подмышку, увлекая за собой вдоль прямых, как корабельные мачты, улиц...

То, что такой жизнерадостный город входил в состав такого сумрачного и скучного государства, как СССР, было сплошной историко-географической аномалией, за которую государство расплачивалось время от времени то переворачиванием милицейских автомобилей, то эпидемией холеры, то дерзкими комедийными писателями, на которых долго не находилось управы. Их книги продолжали читать из-под полы — школьники под партами, служащие — в ящиках письменных столов, железнодорожники — на ответственных перегонах, когда на светофоры надо смотреть, а не в книжные строчки...

Вольнолюбивому городу Одессе и посвящается это повествование.



ДУШНЫМ ВЕЧЕРОМ

Поздним вечером буйного одесского лета в одной из комнат третьего этажа, в неприметном доме тишайшего Театрального переуллка, на низкой, специальной работы, табуретке сидел Юрий Бумштейн, которого, несмотря на его тридцатипятилетний возраст, никто не звал иначе, как «Юриком». Он сидел, скинув брюки, оставшись в длинных, почти до колен, черных сатиновых трусах, известных под именем «семейные», и, морща нос от приторного запаха перезревшего жасмина, сочившегося с улицы, колотил бородатым молотком по стиснутой между коленями железной «лапе», на которую был напаян почти готовый женский сапожок.

— Лупка, Лупка, жаража ты! — жужжал Юрик сквозь зажатые в зубах деревянные шпильки. — Любка, Любка, зараза ты! Вероломная наглая женщина!.. Ничего, теперь заговоришь по-другому... — бормотал он, вгоняя в подошву шпильку за шпилькой.

На каждую из них приходилось по три удара: первый — основной, второй — довершающий, третий — так, без особой задачи, для ритма. Вечер был душный, воздух пряный и вязкий. От огромных доз жасминного духа казалось, что в его мозг вонзился гвоздь. Но прервать, даже на короткое время, работу он не мог: она уже вела его. Несмотря на духоту, кружевные занавески на окнах были опущены, а шелковистые палевые шторы задернуты.

— О, на́глая неблагода́рная же́нщина!

На каждом ударном слоге Юрик со злостью лупил по подошве:

— Надо же! Оставить дочь сиротой при живом отце! Убивать таких мало! Повесить, а потом отдать собакам на растерзание!..

Пот застилал глаза, но в остервенении работы Юрик успевал только смаргивать влагу. Когда пот щипал совсем уж немилосердно, он промокал его, утыкаясь лицом в сгиб локтя.

— Теперь по-другому запоешь, красавица-народная-как-море-полноводная! — бормотал он. — Сразу переменишь свою насмешливость. Как запахнет густым наваром, сразу станешь ласковой. Знаем мы вас, проклятых баб! Вам разве человека надо! Наплевать вам на честность и порядочность. Вам денежки подавай! Хрустят в кармане — ты и красивый, ты и умный, ты и замечательный. А будешь домой одну зарплату приносить, плевать на то, что у тебя душа есть. Не-ет, Любовь Гершовна, не на таковского напали! Мы за себя постоять можем. Что же, даром папаша заставлял часами сидеть в его будке, смотреть, как сапоги кроят? Теперь по-другому запоете, мадам Баттерфляй по собственной инициативе. Сразу тон перемените. А то — «ха, Юрик!» да «ха-ха-ха, Юрик!» Теперь поумерите свои хаханьки. Мои сапожки с руками оторвут. Не хуже югославских будут. Оторвут и еще попросят... А уж за мной дело не станет, мадам Ратнер, бывшая Бумштейн. Быстро по-другому заговорите. Небось, опять в Бумштейны станете набиваться. Только я уж не захочу. У меня тоже есть гордость. Не желаю жить с женщиной, которая мне пятнадцать лет изменяла без всякой совести.

— И ДО СИХ ПОР ЭТО ДЕЛАЕТ! — вдруг рявкнул он и что есть силы влепил молотком по шпильке, так что та пошла вкривь. Пришлось чертыхаясь выковыривать ее клещами.

— Тварь неверная! — в сердцах сказал Юрик, но тут же

смутился. Бывшая жена, будучи разведенной женщиной, уже вроде бы не изменяет, а спит с другим мужчиной как вольный человек.

— Все равно, — прошипел он, — тварь и есть тварь. Подумать только, кого себе приискала? Аккордеониста! Вальс «Амурские волны», полька-«бабочка». Массовик-затейник задрипаный! Чубчик себе отпустил с перманентной завивкой. Роба загорелая — еще бы, по целым дням дурачка валяет в своем санатории. Вечера, котяра, дожидается, чтоб по чужим женам шастать. Жлоб и роба кирпича просит!

Юрик подумал с горечью, что давно надо было бы, как только возник поперек его жизни этот Аркашка, поговорить с соседом Митькой, чтоб начистил затейнику хавальник.

В этот самый момент за окном раздался шум мотора и скрежет тормозов. Услышав незнакомый зычный крик: «Чего лапашь баранку, пьяная морда!», Юрик легко догадался, что Митька легок на помине. Вернулся из ежевечернего рейда по городским ресторанам. Наутро после попойки, мучимый комплексом вины, он называл себя не иначе, как «Моряк — вся корма в ракушках».

Послышался хлопок автомобильной дверцы и торопливые шаги.

— Ж-жал-лееш-шь, ж-жал-ле-еш-шь вас, падлов, — выкрикивал таксист. — От вытрезвиловки спас-с-с-аеш-шь... А вы, г-гады мокрые, в аварию втягиваете. Ты чего, рож-жа налопанная, за руль хватаеш-шь! Твой, что ли, транспорт! Плати по счетчику! По-быстрому. Хватит, намучился я с тобой.

В ответ раздалось мычание, всхлипывание, оханье. Потом наступила пауза, изредка прерываемая возгласами: «Ага, должно быть, там!» Наконец Митька издал глубокий вздох и воскликнул с каким-то нечеловеческим изумлением:

— Мама родная, опять всю получку ухандошал!

Это сообщение произвело на таксиста впечатление змеиного укуса. У него совершенно сбилось дыхание от чувства попранной человеческой добродетели. Некоторое время мужчины молча боролись, пока Митька не захохотал в голос:

— Кончай щекотаться, папаня!.. Ну-у, ну-у, х-ах-ах-ах-ах! Верь, ни копейки нету. Все отдал на потребу зеленому змию, будь он проклят. Ты не беспокойся, шеф, свое получишь. Только, будь другом, доведи до дверей. Хозяйка моя за все заплóтит. И на чай даст. Ей-бо, даст! Всем дает, чего б и тебе не дать?.. Чем ты других хуже? Ничем, ей-бо, ничем. Я тебя люблю, хотя ведешь свою шаланду неправильно. Меняешь галсы, не учитывая ветра...

— У-у-у, звери! — отчаявшись найти на Митьке какие-либо признаки государственных казначейских билетов, надсадно прокричал таксист. — У-у-у, гады ползучие!.. И чего с вами, алкашами нянчатся, по вытрезвиловкам развозят! Убивать вас надо! Не знаешь меры — не пей, рожа твоя деревянная!

Послышались шлепки. Было ясно: бьют по темени. Ничто не издает такого упруго-звонкого эха, как человеческая голова. Разве что знаменитый тонкошкурый херсонский арбуз, когда его проверяют на спелость. Но арбуз пошлепывают осторожно. Нежно и ласково, как попку годовалого ребенка. То ли дело человеческая голова! Тут сразу переходят в высший регистр. Бьют и к музыке не прислушиваются...

Сквозь створ между шторами Юрик выглянул на улицу. Таксист ощупывал карманы Митьки. Улучив момент, тот вытянулся на цыпочках, вздохнул что было силы, так что грудная клетка подкатилась к подбородку, и закричал дурным голосом: «Ма-а-а-ша-а!» Крича, он медленно приседал на корточки, видимо, чтобы пропустить через голосовые связки весь, до последнего кубика, воздух из легких.

Звякнул запор на соседской двери. Через минуту из подъезда вышла Митькина жена Машка. В сарафане, с

широкими оголенными плечами и намазанным на ночь кремом «Нивея» лицом, с папиросой в правой руке, переваливаясь из стороны в сторону и шаркая домашними тапочками, она приблизилась к опершемуся на капот «Волги» Митьке. Пока тот безуспешно пытался изобразить улыбку, она осторожно переложила папиросу в левую руку и освободившейся правой нанесла мужу удар в подвздошье. Тот ойкнул и сполз к ногам таксиста. Машка подняла на того взгляд.

— Ну что, привез? — грозно сказала она.

Таксист попытился, бормоча, что вот-де неплохо бы получить за проезд.

— Конечно, получишь, — сказала Машка и широко, во все плечо размахнувшись, спокойно, будто молотком вгоняла в стенку гвоздь для портрета, ударила таксиста тыльной стороной кулака в ухо. Затем, развернув свое большое тело, все так же шаркая по асфальту тапочками, вернулась в дом. В сердцах хлопнула что было силы дверью парадного. Раздался звук рассыпанной денежной мелочи: похоже что от удара вылетело дверное стекло.

Наступила тишина. Митька лежал плашмя на тротуаре, даже не пытаясь поднять голову. Таксист почесывал ухо, видимо, решая, что делать, кроме того, чтобы уехать, плюнув на убыток. Наконец, кто-то из окна второго этажа спросил:

— Сколько?

— Пять восемьдесят семь, — ответил тот.

В ответ раздался мат в адрес Митьки, и окно захлопнулось. Зато открылось другое, этажом выше. Потом еще одно. Зазвенели по булыжнику мостовой монетки. Как всегда, соседи выручали Митьку. Юрик порылся в карманах брюк, лежавших на кровати, выгреб мелочь и, высунувшись из окна, выбросил свою долю.

Митька поднял голову.

— Ты, друг... — сказал он пересохшим голосом, обращаясь к таксисту, — все получил?

— Всё, — сказал тот злобно, зажав в одной руке мелочь и потирая ухо другой.

— Вот так и расплачиваюсь, — со вздохом сказал Митька и снова улегся на тротуар, подложив под голову руку.

Взревев мотором и вереща шинами, «Волга» рванулась с места и умчалась в ночь.

Юрик снова принялся за сапожок. Ничего, бормотал он себе под нос, еще не поздно, мы свое еще покажем. Теперь уже скоро... Он понимал, что не вышел ни лицом, ни ростом, что он и красавица Любка, этот пышный куст азалии в яром цвету, не подходят друг другу даже как брат и сестра. Но втайне все-таки надеялся, что ему удастся разжечь сердце бывшей жены. Он уже видел, как, сбыв достаточно дамских сапожек среди одесских модниц, он отправится в универмаг на Дерибасовской и закупит ворох платьев... Впрочем, чуть поразмыслив, Юрик смутился, поняв, что, слишком ретиво взявшись за дело, его воображение дало фальстарт. Если он заявится к Любке с магазинными платьями, то она скорее всего выкинет его за дверь вместе с этими подарками. Искусная портниха, она ни за какие коврижки не станет носить платья отечественного, страшного производства...

Воображение снова присело на корточки, потом приподнялось и, словно от хлопка стартерного пистолета, рвануло с места... Разбогатеет, он войдет в лучшую в городе комиссионку, в которую моряки, вернувшись из заграники, сбывают барахло, и отыщет какое-нибудь шикарное парижское платье с павлиньими перьями на груди, вроде того, что видел в «Шербургских зонтиках». И Любка снова будет его. Он будет возить ее на бархатный сезон в Сочи. Обедать будут каждый вечер в другом ресторане. Обязательно пойдут в «Кавказский аул», о котором рассказывал приятель Жора. Вместо ресторанного кабинета, сидишь со своей дамой в отдельной сакле. В середине аула — танцплощадка, и джаз-оркестр исполняет зажигательные танцы мира — румбу,

самбу и ча-ча-ча. Оттанцевав, пары медленно разбредаются по саклям, где тем временем уже пылают шашлыки и люля-кебабы. По углам стоят официанты в кабардинских костюмах, готовые по первому (казначейскому) знаку удариться в пляс от полноты чувств.

Он купит голубые «Жигули», отыщет на толкучке модную кожаную куртку летчиков бомбардировочной авиации с дюжиной змеек, подкатит к дому Любки и небрежно бросит в ее раскинутые от удивления руки перламутровый брелок с ключом зажигания.

... Счастливая и гордая его успехом Любка уже готова была прижать Юрика к своей горячей и упругой, как июльский Лузановский пляж, груди, как в дверь постучали.

— Кто там? — крикнул Юрик, не отрываясь от дела. В эту минуту он продергивал дратву сквозь подошву — последний стежок, после чего можно считать, что сапожок готов, останется лишь навести внешний лоск. Юрик направился к двери, мысленно чертыхаясь. Повернул ключ. Натянулась цепочка.

Юрик глянул косым куриным способом в раствор двери — и замер от удивления. За дверью стояла молодая женщина в бирюзовом платье из модного крепдешина в мелкий цветочек. На одном плече горел золотой эполет. В руках сверкал покрытый бриллиантами жезл. Медноволосая красавица с зелеными глазами и бледно-розовыми нежными губами.

Юрик вперился в нее взглядом.

— Вам кого? — спросил он, замороженный.

— Вас, — сказала она, просунув руку в открытый створ двери и проведя теплой ладонью по его щеке. По телу Юрика пробежала легкая сладкая волна. Его кожа, как оказалось, давно изголодалась по ласке.

— Кто... кто вы такая? — только и смог выдавить он.

— Мое полное имя — Обещание. По-домашнему — Будя.

Она нежно улыбалась Юрику, но снять цепочку и рас-

пахнуть дверь он не спешил. Жизнь научила его бояться женской красоты. «Будя» еще шире улыбнулась на прощание, сделала шаг назад и слилась с эмалевой голубой стеной, оставив вместо себя соседа Митьку. Митька таращил глаза и втягивал губы, изо всех сил пытаясь выглядеть трезвым. Рядом с ним стоял небольшого роста упитанный мужчина в бежевом чесучовом пиджаке и белой тенниске с голубой каймой на отложном воротничке — ни дать ни взять, тренер спортобщества «Динамо».